

**Майков А.Н.**  
**Несколько слов о Ф.М. Достоевском**

Милостивые государи!

На похоронах Федора Михайловича многие выражали желание, говорили даже, что я должен сказать что-нибудь о покойном: я тогда отвечал, что это мне очень трудно. Теперь прошло несколько недель, — я чувствую то же затруднение. Может быть, причина этого затруднения заключается в слишком близких и слишком давних моих отношениях к покойному. Потом, вот чего боюсь: очень часто случается, что, желая говорить о знаменитом покойнике, говорящие более высказывают себя, чем изображают его; мне бы не хотелось впасть в эту ошибку, — но едва ли возможно мне ее избежать — именно вследствие близких наших отношений. Они установились почти с самого появления в печати «Бедных Людей», прервались в 49-м году на много лет; но возобновились тотчас же по возвращении Федора Михайловича из Сибири. Годы, проведенные им за границей с 1867 года по 1871 включительно, вызвали между нами постоянную переписку, которая еще более закрепила в нас общность идей и взглядов, симпатий и антипатий, так что по возвращении его из-за границы в Петербург видаться часто сделалось нашею взаимною потребностью. Но мы видались, говорили и переписывались как все простые скромные смертные, ничего не подозревающие. Смерть прервала эти беседы, — и вдруг над гробом Федора Михайловича раздался всеобщий голос публики, и не только здешней публики, но всей читающей России, что этот мой давний собеседник, друг и приятель — гений, что он в своих трудах принес целое откровение; молодежь называет его своим учителем, ораторы провозглашают его пророком. Его берут, так сказать, от его близких, от спутников его жизни, чуть не от семьи и объявляют его достоянием целой России. Что нам остается делать при громе этого приговора, несущегося со всех сторон, от всех возрастов, со всех ступеней общества — нам, его бывшим друзьям? Нам остается только отступить, сквозь слезы радоваться за усопшего друга и присоединить свой голос к общему голосу.

Но вместе с этим и мы, бывшие близкие люди, получили особенное значение, мы вдруг очутились в совсем особенном положении. К нам предъявляются уже совсем новые для нас вопросы. От нас хотят услышать интимные подробности о покойном. От нас ждут множества ответов на множество вопросов, которые даже едва ли кто формулировать может. Все как будто вдруг открыли Достоевского, и все поскорей («главное, поскорей», как говорил покойный) хотят узнать и определить, что такое Достоевский? «Все, все скажите», — говорят нам.

Но близкие люди, что они скажут, застигнутые врасплох? Спросите Анну Григорьевну о Федоре Михайловиче, — она скажет: «Ах, какой это был муж! Как он меня любил, как я его любила!» Друзья что скажут? Их ответы будут детальные, отрывочные, анекдотические, пожалуй, а никак уж не отвечающие на предъявленные вопросы. Словом, ответы неинтересные. Что до меня, по крайней мере, я бы никогда ими не удовлетворился.

О великих людях, о великих писателях мне не особенно интересно знать, в каком доме они жили, какое платье носили, видеть вещи, им принадлежавшие; в старину, бывало, ценились табакерки, из которых они нюхали табак, шляпы, чернилицы, перья и т. д. Вся мелочная обстановка их жизни — это только краски, штрихи, подробности. Для меня всегда важнее внутренний мир писателя, и особенно русского писателя, его идеалы — нравственные, философские, политические, его понимание России, ее значения в мире, ее истории; мне интереснее этот, так сказать, идеальный очерк писателя, его душевный и умственный портрет. Но дадут ли вам его близкие люди? И к ним ли надобно обратиться, чтобы его составить и нарисовать? Нет, всякий лучше может сделать это сам и обратиться не к приятелям, а к самому лицу, о котором хочешь узнать. А это лицо — не умерло. Писатель, художник, мыслитель живет в своих произведениях. Читайте их, вдумывайтесь

в них, разгадывайте смысл выведенных ими образов, прочтите в них недосказанное — и вы войдете в самые тайники души писателя и узнаете его, может быть, лучше, чем его близкие, узнаете из них более, чем из всей его обстановки, трудолюбиво составленной биографии, более даже, чем из посмертной переписки, ибо в письмах человек пишет иногда под влиянием минуты, иногда шуточки, и шуточка принимается за серьезное: ведь напечатал же один педагог (а другой перепечатал) о Батюшкове на основании его собственноручного письма, что поэт «был честолюбив и жаждал чинов и отличий». Педагог шуточки-то не понял.

Но, однако же, мы беседовали с ним по многим часам в течение многих лет, вырабатывали сообща многие идеи, спорили, судили друг друга, помогали таким образом один другому уразумевать вещи. Текущие дела, отдельные случаи частной и общей жизни, великие события, которые мы пережили во внутренней жизни нашего отечества и на мировом поприще, — все это приводилось к своему всемирно-историческому значению: все мелкое, случайное, преходящее приводилось в логическую связь с общим началом. Узнать прошедшее, чтобы понять настоящее и угадать будущее, — вот что было характером бесед с Федором Михайловичем; дойти до пониманья — вот к чему он стремился, вот чего он желал всем. О, если бы люди только «поняли, — на земле был бы рай», — говаривал он. Мы уж знали, что значило это «если бы люди поняли», т. е. что именно поняли? — Да полагаю, что догадываетесь и вы, милостивые государи. Это он говорил о людях вообще, о роде человеческом. Но сердце его в особенности горело по России.

Раз я прочел ему одно мое стихотворение, обращенное когда-то мною к Ф. И. Тютчеву; — вот это стихотворение:

Народы, племена, их гений, их судьбы  
Стоят перед тобой своей идеи полны,  
Как вдруг застывшие в разбеге бурном волны,  
Как в самый жаркий миг отчаянной борьбы  
Окаменевшие атлеты...  
Ты видишь их насквозь, их тайну ты постиг,  
И ясен для тебя и настоящий миг,  
И тайные грядущего обеты...  
Но грустно зрячему бродить между слепых,  
Твердить: «Поймите лишь — и будет вам прозренья!  
Поймите лишь, каких носители вы сил,  
И путь осветится, и упадут сомненья,  
И дастся вам само, что жребий вам судил!..»

(Майков А. Н., «Ф. И. Тютчев»)

Федор Михайлович воскликнул: «Да, да, поймите лишь! Именно, именно только бы поняли! Да нет, не поймут! Знаете, если у нас что и делают иногда как следует, так это по инстинкту, а не сознательно. Николай Чудотворец делает... А что ж вы думаете, — продолжал он, — многие нас понимают? Все, мол, это квас! Шовинизм! Мистицизм! Искусство для искусства!..»

После кликов, рукоплесканий и венков, которыми удостоивали его на публичных чтениях, опять он говаривал: «Да, да, все это хорошо, да все-таки главного не понимают!»

Теперь, после торжественных похорон, после громких речей, после множества хвалебных статей в газетах и журналах — невольно в памяти моей выступает опять этот же вопрос, который задавал довольно часто Федор Михайлович: а многие ли понимают его и понимают ли то, что он называл главным?

Отвечать на себя не беру, но кончу мою беседу анекдотом, как любил, бывало, кончать серьезную речь покойник.

Один почтенный советник, который был знаком с Достоевским до истории Петрашевского и не видался с ним и по возвращении Федора Михайловича из Сибири до прошлого года, встретился с ним в одном блестящем обществе.

Старые приятели, отрекомендованные друг другу, вспомнили старое знакомство, завязался весьма дружеский разговор, — приятель сказал:

«Какое, однако, несправедливое дело было эта ваша ссылка».

«Нет, — коротко, как всегда, обрезывает Достоевский, — нет, справедливое. Нас бы осудил русский народ. Это я почувствовал там только, в каторге. И почему вы знаете, — может быть, там, наверху, т. е. Самому Высшему, нужно было меня привести в каторгу, чтоб я там что-нибудь узнал, т. е. узнал самое главное, без чего нельзя жить, иначе люди съедят друг друга, с их материальным развитием; ну-с, и чтобы это самое главное я вынес оттуда, потому что оно пока скрывается только в народе, хоть он гадок, вор, убийца, пьяница; так, чтоб я вынес это оттуда и другим сообщил и чтоб другие (хоть не все, хоть очень не многие) лучше стали хоть на крошечку — хоть частичку бы приняли, хоть бы поняли, что в бездну стремятся, и этого довольно. И этого уж много. И из-за этого стоило пойти на каторгу».

Какое же впечатление произвел на советника этот взгляд Федора Михайловича на роковое событие его жизни, взгляд, не раз так или иначе выраженный им в его «Дневнике Писателя»? Советник, отойдя от Достоевского, с искреннейшим сожалением, качая головой, говорил его окружающим:

— Экая жалость, экая жалость!

— Что такое?

— Да вот, Достоевский — совсем сумасшедший. Бог знает, какой мистицизм несет.

К чему ж этот анекдот?

Да просто к тому, чтобы выразить надежду, что таких советников не много!<sup>1</sup>

-----

---

<sup>1</sup> В газете «Русь» (1881. № 18, 14 марта), где была перепечатана эта речь, И. С. Аксаков прибавил к ней следующее примечание:

«Этот рассказ А. Н. Майкова напоминает и нам следующий случай. Как-то раз, проезжая через Москву, Достоевский зашел к нам и с увлечением разговорился о покойном государе Николае Павловиче, о том, как на фоне прошлого величаво рисуется этот исторический образ монарха, верившего в свой сан и свое право, и как сочувствен ему этот образ. Во время разговора вошел известный английский путешественник Уоллес Мэкензи, проживший перед тем уже года три в России, отлично выучившийся по-русски и знакомый с русскою литературою. Когда он узнал, что перед ним Достоевский, он загорелся любопытством и с жадностью стал слушать прерванную было и снова возобновившуюся речь Федора Михайловича о Николае Павловиче. Достоевский продолжал говорить, не обращая внимания на англичанина и вскоре затем уехал.

...Вы говорите, что это Достоевский? — спросил нас англичанин. — Да. — Автор "Мертвого Дома?" — Именно он. — Не может быть. Ведь он был сослан на каторгу? — Был. Ну, что же? — Да как же он может хвалить человека, сославшего его на каторгу? — Вам, иностранцам, это трудно понять, - отвечали мы, - а нам это понятно, как черта вполне национальная...»